



Н. И. ЛАДЫГИН

Из последних палиндромов

Один, души пишу дни до,
Отказа, Кто
Ты? Пойми опыт
И жар и миражи.

Лидер — бедолага Ладе бредил:
«Ныло поле, манило дол, и намело
 полюнь,
Мокнет окрест». Сер, котенком

Теория роет,
А то — барана работа,
Те носили сонет.

Тот
Удал к окладу,
Но в тине взлетел, звенит вон.
Род звона, но вздор,
Снес нонсенс.
Но он
И жох схожи.

Шедевры до дыр ведешь.
А не жалела жена.

Нового били, богов он
Не ублажал, буен.
Тот

И лиро-псары мира спорили:
«Не жар — то отражен,
Мечту воззвуют чем!»
Тот

Мастит сам,
Но балабон.
Не туман, а мутен.
Али было? Марья крாமолы била?

Ему в уме
Не оды, выдоен.

Я вижу, живя,
То вялого классика, закис
 с алкоголя, вот

Ударит тираду,
И жарит тиражи,
И рад, и дар, и
Лад ему медаль.
Он ту музу мутно,

Как
Лямку мук мял.
А копии пока
Он, видите, шипит и пишет,
 и дивно

То план гнал пот,
И еще вещей
Не дал хор, прохладен.

АВТОГРАФ НА РУКЕ

Владимир Руделев

ИЗ НАЛЬБИ

Апрель сего года ознаменовался приездом в Тамбов Ры Николовой. Она выступила на филфаке, сочинила вакуумное стихотворение из цветов в Пригородном лесу и увенчала свое пребывание в нашем городе автографом на руке знаменитого собирателя редкостей НАНА, т. е. Николая Алексеевича Никифорова.

Фото Алексея и Бориса Ладыгиных.



Безумных дней моих вода —
на дне щемящего ущелья.
Зачем я был?
Какую цель
себе случайно загадал?
Как косен твой нелепый смысл,
скала прекрасных сожалений!
Я — леса огненного мыс.
Я — звезд присноживущих сени.
Боюсь не адовой тюрьмы,
не скрежета зубов иль червя —
боюсь незнания: зачем я
на двух обрывах Дня и Тьмы,
отпущен на короткий век —
без назначения и развития?..
Но кем не удостоен быть я.
с мольбой взирающий вверх?
Душа смиренна и горда —
то одесную, то ощу...
О! Как неистово бушует
безумных дней моих вода!

Листков изорванных вранье.
Печаль на свадьбах,
Смех на тризнах.
Жизнь не опознана —
ее
не установлен жесткий признак.
Любовь еще любима.
Но —
любвных слов скупая серость.
И Сердце, как бесцветный
 ксерокс,
беспризнаково и темно.
Не опознать ни свет, ни дождь:

где труд, где отпускная нега?
Моря — без признаков.
И неба
куска на небе не найдешь.
Мой дом — уставших мыслей
 док,
он без порока и порога.
Он не пророка ждет, а Бога.
Но не познан вечный Бог.
И Им, когда наступит час,
не будешь встречен и опознан.
И не минувешь горьких чаш.
И не услышишь гласов грозных.

В лесу он плакал:
жизнь крива,
и кривизна ее серьезна.
Лесная звонкая трава
росла легко, светло, бесслезно.
И не страдали деревья,
ступая хрусткими путями.
И, словно инопланетяне,
взлетали ввысь тетерева.
В лесу он плакал:
смерть — легка,
а у бессмертия заслон свой.
Слегка постанывало солнце
от поцелуев ветерка.
Тот — уходил в любовь,
 не прячьась,
без огорчения и слез.
Была подобием стрекоз
его крылатая прозрачность.
Смеялся гриб-багров и лаком,
— познавший беличью красу.
Лишь человек стоял и плакал
в бесслезном, солнечном лесу.
Печальный вид его не трогал
ни лис, ни ящериц, ни блох.
Но та печаль была от Бога,
хоть и не знал сладчайший Бог,
чем смущено его подобье,
пока печаль не обняла
горы зеленое надбровье
и туч закятных два крыла
и поднялась в ночную млечность,
зажегшись звездною тоской.
И, плача, вздрагивала Вечность,
любя недолгий век людской.
1992.

ПРОБА ПЕРА

Елена Иванова

Ветер листья осенние треплет.
Время — самый жестокий судья,
Словно Феникс из серого пепла,
возрождается память моя.
Нарисуй мне картину, художник,
подскажи мне, как жить,
 помоги!
Нет ответа. Лишь капает
 дождик,
оставляя на лужах круги...
И почти не осталось надежды,
все эскизы исчезли давно...
Лишь художник в лиловой
 одежде
на пустое глядит полотно.

Мне снится жизнь чужая —
там улицы пусты.
Я взглядом провожаю
гулящие мосты.
И, развернувшись круто,
как бабочки в огонь,
все прошлые минуты
летят в мою ладонь,
Я утопаю в вязком,
в нелегком этом сне...
И Время в черной маске
склоняется ко мне,

СЕНТЯБРЬ

Я иду по городу осеннему,
там, где кружат листья
 в тишине.
И душа моя, ища спасения,
беспокойно движется во мне.
Бьется между ребрами
 бессовестно,
хочет птицей выпорхнуть
 с руки,
тянет написать рассказы,
 повести,
сочинить нелепые стихи,
посвятить кому-то незнакомому
и мечтать все ночи напролет...
Потерпи, душа моя, до дома, а?
Может, там нас кто-нибудь
 найдет...

* Куек Налбый Юнусович — адыгейский поэт. Перевод с адыгейского поэтом В. Руделевым сделан по авторскому подстрочнику.

СЕТКА РАБИЦА

самблю. Надо, конечно, видеть и слышать группу, в составе которой помимо Ананьева — Вера Дуленко, Светлана Очнева и Алексей Захаров. Но в нашем распоряжении не видеокассета, а всего лишь изображение Гутенберга. Поэтому мы можем представить только текстовую грань того действия, которое зовется «сеткой Рабца».

«Сетка Рабца» — в действительности такая металлическая сетка, которая служит для ограждения чего-либо. Узор ее прост, но изощрен, она похожа на лист Мебиуса. Применительно к музыкальной группе это название метафорично. Простота и изобретательность — можно так определить то, что делает Михаил Ананьев вместе со своими друзьями по ан-



Михаил Ананьев

Когда все кричали, я стоял и молчал,
Наблюдая круги на воде.
Когда раздавали, я упорно не брал,
Я знал о грядущей беде.

Рушились храмы, мелели моря,
Ложились леса под топор.
Прекрасные дамы пудрились зря,
Все равно их трахал весь двор.

ТОГДА ВО ВСЕМ БЫЛ ВИНОВАТ Я

Я не двигался с места, хоть и знал,
что вокруг

Каждый гребет под себя.
Из этого теста и я, милый друг,
Но делаю это любя.

Я притворялся, что больно и мне,
Замечая страдания других,
В душе я смеялся, я стоял в стороне
И сочинял этот стих

ИТАК, ВО ВСЕМ БЫЛ ВИНОВАТ Я

Жар вечного пекла я уж чувю теперь,
И скоро увижу все там.
Очков моих стекла похожи на дверь.
Похож ли на что-то я сам.

Когда аплодируют, я ухожу,

Так ли хорош дар Новочеркаска
Судьям игры, разрешенной в стране, —
Новый рассказ, не похожий на сказку,
О существах, приходящих извне?

Читку внесли во вторую декаду,
Значит, в конюшнях появится дым,
Но от хозяина до конюкрада.
Каждый в тот день станет кем-то другим.

Боже, какая свобода для нищих!
Прапорщик пьет, баронесса торчит,
Дети обходятся вовсе без пищи.
Детям уже ничего не грозит.

Нейрохирурги, певцы и монахи,
Редкий желая использовать шанс,
Все продают до последней рубахи,
Лишь бы попасть на заветный сеанс.

Все изменилось в короткие сроки,
Стрелки иные развернуты вбок,
Тот, кто товар покупал на Востоке,
Нынче товар продает на Восток.

Встань Люцифер, да кнутом заманись-ка,
Надо проверить запасы страны,
Все ли киргизы забыли киргизский,
Все ли богатые стали бедны.

Все ль научились любить Иисуса
Иль кое-кто еще чтит Ильича,
Может быть, их, не имеющих вкуса,
Этим кнутом отстегать сгоряча.

Так ли хорош дар Новочеркаска
Судьям игры, разрешенной в стране, —
Новый рассказ, не похожий на сказку,
О существах, приходящих извне.

И словно из погреба в сад,
Когда ампутируют, я нахожу
В картине сей форменный ад.

И ВСЕ Ж ВО ВСЕМ БЫЛ ВИНОВАТ Я

Выход простой: найти покрепче шнурок,
В строго назначенный час,
Над головой найти потолще сучок
Или железный каркас.

Тщательно выбрать щетину с лица,
Словно собравшись в полет,
Можно выпить сухого вина,
И вот уж никто не поет

ДРУЗЬЯ, ВО ВСЕМ БЫЛ ВИНОВАТ Я.

Д. РАЧКОВ КАРТИНА

В актовом зале нашей школы повесили большую картину. Это громко: в зале, скорее зальчике, и картина пришлась как нельзя кстати, ибо заняла почти всю боковую стенку, которая вечно мокла под осенними дождями — один мучения. Директору пришлось отвалить кругленькую сумму умельцам местной художественно-промышленной мастерской, он покряхтел, покряхтел, но выложил сразу, вероятно, было указание свыше. Потом я видел копию с этой картины во всех наших школах, в горно то же, где поменьше, где побольше, в зависимости от размеров зала.

Картина эта была тогдашироко известна благодаря «огоньковской» репродукции. Веранда большого рубленого дома, стоящего на крутом донском берегу, раннее утро, вдали стелется молочный туман. За столом, покрытым, — думаете, скатерью? — зеленым сукном! — сидят писатели донского края. Во главе стола Михаил Александрович Шолохов, взглядом задумчиво-меланхолическим и орлиным одновременно, и поймешь чего больше, окидывает он соратников своих, собравшись по перу, птенцов гнезда его, сидящих тут же — Михаила Алексея, Виталия Закруткина, Евгения Поповкина и других,

среди которых затесался Семен Бабаевский, живущий «по Кубани», но он свой, свой «по Ду-ху», то это «по Кубани», как бы не замечается. Такая вот картина.

Как-то веду я урок, вдруг распахивается дверь и влетает девчонка, наша секретарша, в крайнем возбуждении выпаливает: — Владимир Иванович! Срочно! Поднимитесь в актовый зал! Вас ждут!

— А кто ждет?
— Ой, там все: и Сергей Михайлович (это наш директор) и Серафима Петровна (завуч) и из горкома кто-то.

Я уже привык, что начальство, а тут в наличии весь синклит, редко вызывает, чтобы выразить благодарность, — скорее жди какой-нибудь «распеканции».

Поднимаюсь на второй этаж в наш актовый зал. Аудитория пуста, а в самом конце ее под огромной во всю стенку картиной стоят те, кому я срочно понадобился. Тут и директор, и Серафима Петровна, профорг, парторг, комсомольский секретарь. В центре группы что-то говорит горкомовская дама, доносится обрывок фразы: «а что, очень хорошая картина!» С дамой я знаком, пришлось иметь дело. Она в предпенсионных годах, но необычайно энер-

ИЗ РАССКАЗОВ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

гична и въедлива, особенно что касается культуры и образования, впрочем это ей и положено по рангу. И отмечаю про себя маленькое, мимолетное сходство этой группы с фотографией Хрущева на выставке в Манеже. Конечно, масштабы иные, тут всего одна картина, но почти-тельная, угодливая серьезность на лицах внимающих та же — один к одному.

— Владимир Иванович, — раздается голос директора, — мы ждем вас, идите сюда.

Подхожу. Интересно все-таки, что им надо.

— Вам нравится эта картина? — обращается ко мне горкомовская дама.

— Вот те на! За этим звали?

— Доходчивая, — отвечаю, не зная, что сказать.

— Мне очень, — продолжает она на некоей лирической ноте, — смотрите, какой вид из окна и воздух, — Свята правда, — красота спасет мир, — и подмигивая мне покровительственно: так что ли говорил классик?

— Именно так классик и говорил.

— Но мы собственно позвали вас вот зачем. Стоим перед картиной и отгадываем, кто есть кто. И, представьте, не всех угадали. Помогите нам, пожалуйста.

Ах, шельма-директор, это его идея. Смотрите, мол, какие у нас в школе эрудированные учителя, во вверенной мне школе...

Ну что ж, тут можно малость

повеселиться и отвести душу.

— Этот, — начинаю, — как вы понимаете Михаил Александрович Шолохов. И дальше перечисляю всех, включая Бабаевского, который хоть и с Кубани, но писатель «шолоховской», «донской» школы. Кивают, кивают.

— А вот это кто? — спрашивает горкомша и показывает карандашиком на какого-то мордастого, с орденом Ленина и значком Героя на лацкане пиджака.

А я и сам не знаю, кто это. — Мы всех отгадали, а его нет. Кто же это, Владимир Иванович?

Я тру виски, делаю вид, что мучительно думаю, вспоминаю. Директор бросает мне тревожные взгляды, не подведи, мол, братец.

И вдруг словно вспыхнула маленькая лампочка.

— А это, — патетически произношу я, — секретарь Ростовского обкома партии.

Некоторое оцепенение. Потом

радостный возглас завучихи: — Ну да, ну конечно! По идеологии... — и теплая улыбка горкомовской даме, та тоже улыбается.

— Ну вот и разгадали, — говорит дама мне, а то, знаете, как будто чего-то не хватало.

И они заговорили о школьных делах.

— Серафима Петровна, — шепчу на ухо завучихе, — можно идти на занятия? Ученики ждут.

И в тот же миг ее радостно возбужденное лицо передергивает гримаса отвращения. Так смотрят на человека, сказавшего что-то ужасное, испортившее лад песни, ни с чем не сообразное.

— Вы что, — змеей шипит она, — соображаете? Какие занятия? А вдруг к вам будут еще вопросы?

Вот собственно и все. Урока жалко, ученики, не дождавшись меня, бегали по коридору. А тема интересная. «Отцы и дети» Тургенева.

ИВАН ИВАНОВИЧ ИВАНСОН

— Можно?
В кабинете директора похоже заседание партбюро.

— Проходите, проходите, по-

сидите здесь, мы заканчиваем. Сажусь на стул у стены, перебираю бумаги, которые надо подписать у директора, поневоле

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

РИТОРИЧЕСКИЕ СТИХИ

ОТ АВТОРА

Риторика в русских стихах — дело обыкновенное. В 70-е—80-е годы обстоятельства времени и места диктовали особого рода риторику. Я записывал этот диктант на полях совсем других стихов. Иногда записываю и сейчас.

Летучая мысль — не птица, но и не мышь. Это летучая мышь. Кит — не рыба, но и не зверь. Хотя промысловики называют его зверем, все-таки это кит. В литературе бывают такие промежуточные виды, которые не вписываются в разряды зверей и птиц.

Вадим

Степанов

Прутковизмы

Если жена ласкова с вами, значит у нее есть любовник.

Многое из существующего еще не названо.

Настоящее — это хорошо забытое прошлое.

Ценно только то, что потеряно. Всем хорошим мы обязаны сумасшедшим!

Мысль «Мысль, изреченная есть ложь» — есть ложь.

Что посеешь, то и пожнут.

Закон бездействует, если его не нарушают.

Знай: несчастная любовь вредна для зубов!

В искусстве реки вытекают из океана.

Жить разумно мешает нехватка разума.

Глупый народ — непобедим!

Самый лучший любовник женщины — это ее воображение.

Человек — это электронный микроскоп, которым забивают гвозди.

Чтобы взлететь, надо оттолкнуться.

Болезнь как и огонь, прежде чем погаснуть, вспыхивает.

То, что мы не способны познать, и есть суть.

Есть слова, которые невозможно выразить чувствами.

Прошлое провинциально по отношению к настоящему.

Вылечись от самого себя!

Мозг играет «двумя руками».

Когда говоришь правду, врать нельзя.

За колумбами идут корсары и кирасиры.

ФИЗИОНОМИЯ ЗЛА

Мне тоже память не отшибло, я знаю — сколько люду гибло и сгнуло по всей земле. На прахе всходим, на золе. Я знаю зла и вкус, и запах, — оно за сотни верст смердит. Я знаю зла, и вкус, и запах, — И глазом кровавым косит. Оно гармонией радится, на хаос грудью восстает. И тайно в зеркальце глядится, хвост из-под фалды достает.

* * *

Если стопудовую гирику приторочить к ноге, то правильно ли грамматически: «Он идет налегке?»

УТОПИЯ №

Дайте дорогу Бездарности — впереди пропасть. Пропустите-пустите-пустите! Дорогу! Дорогу! Отведите детей в сторону. Не пугайте этим кошмаром: Бездарность на белом коне въезжает ТОРЖЕСТВЕННО в пропасть, увлекая в экстазе свиту, в которой главное место занимают Догматики и Демагоги.



Отзвук конференции. Авангард в фотодокументах.

Е. Лебедева

Прелестная белая бабочка-моль влетает в раскрытые форточки-души. В проветренных душах ей скучно самой. И даже прохладней, чем было снаружи.

Выключили закат был неуместно ярко. Вынесенный за кадр, чашнет луны огарок. Небо глотает дым тлеющих декораций. Памятником своим бредит чужак Гораций. Звякнут куранты: трень! — с полуразбитой башни. Тихо скончался день, став навсегда вчерашним.

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

22 октября белорусскому поэту Юрию Лучине исполнилось 60 лет. Вряд ли на его независимой теперь родине кто-нибудь вспомнит о стихотворце, фамилия которого совпадает с псевдонимом еще одного слушателя муз — Ивана Неслуховского (Янки Лучины, 1851—1897), кстати дальнего родственника Юрия Степановича.

Почти уверен, что и в Рязани, где с давних лет живет Юрий Степанович Лучина, его как поэта не помянут. Поминают обычно тех, кто работает поэтом, а Юрий Степанович поэтом не работает, он поэт души, поэт судьбы, поэт мысли. Я не видел еще одного такого человека, который мыслит, говорит и пишет так поэтно...

Мы учились с Юрием в рязанской школе № 1 имени Крупской. Там (намного раньше нас) учился великий Иван Петрович Павлов, потом — поэт Константин Симонов. Отбыв положенное число лет в ГУЛАГе, в нашей школе работал учителем-физиком А. И. Солженицын.

Окончив школу, Юрий Степанович учился в пединституте, где успешно выучил английский и немецкий, потом, работая в каком-то «ящике», усвоил итальянский и пару славянских языков. Такова его чисто людская судьба. А поэтом он был с детских лет, никогда, впрочем, не печатая своих стихов. Я чудом заполучил от него одно стихотворение, которое предлагаю читателям «Пигмалиона». Юрия Степановича я поздравляю с юбилеем и слегка грущу, что таким молодым ребятам, как он и я, уже по 60 лет.

В. РУДЕЛЕВ.

ЮРИЙ ЛУЧИНА

Расстрелянное там, в заоблачном застенке, сползло солнце по небесной стенке. Кровавая кровля кровью человека, Заря вставала недобитым эском. Дымилась жерла Дягилевской ТЭЦ — Дню, словно жизни; наступал (конец) Устало, хмуро шли над головою Бессонных туч свинцовые конвой. Мои глаза, весны далекой просинь, Прощенья твоего прощально просят. И гладит колокольни благовонье Мой тихий город теплою ладонью... 1993

ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

С. КАМЕНЕЦКИЙ

«Корову я свою приварила, теперь хорошо», — не глядя опрокидывала в бидоны наливную кружку молочница. Голова ее была повернута затылком к очереди и лицом к женщине, видимо, соседке. Асфальт был мокрый, очередь познабливало, но большая желтая собака лежала у цистерны, как у печки, и две женщины говорили, как ели: смачно и досыта...

Он шел, далеко отбрасывая назад ноги, почти иноходью. Весь груз его забот был в ногах. Летом он плавал в море среди реальных миражей морского дна и чувствовал себя властелином, деспотом, сатрапом всех этих звезд, медуз... Он ждал лета, как медведь зиму. Зарыться, засунуть лапу в пасты, нырнуть — и нет больше ежеутренних маек

и брюк, бидонов с молоком, журналов с отметками, учеников с родителями.

Никто не видел — как он был хорош под водой!

Осенью из властелина и сатрапа он опять превращался в учителя музыки Константина Егоровича.

«Каньстенькин, слышь?! — до-нимал его дед, — на девок-то полочки хватает?»

Константин Егорович (в очередные наезды домой — Каньстенькин) умывался из кружки и молчал. Он стоял в ширпотребовских трусах со всевозможными надписями: «секунды, метры, эмоции», «по всем статьям чемпион», и вспоминал город, из которого мечтал вырваться к лету. Вспоминал троллейбус ежедневный, как сон, и надпись

на баранке водителя: «Люби, как жену, гоняй, как тещу».

Ни того, ни другого у Константина Егоровича не было, но в душе он был вполне готов и любить жену, и гонять тещу.

В этом году он приобрел светлый пиджак в крупную клетку и синюю шерстяную рубашку. Константин Егорович надеялся на что-то. Последние три года он жил в черном свитере и коричневых брюках в клетку. Этот вариант себя не оправдал.

...Стоял в маленьком классе музыкальной школы Константин Егорович завалил журналами «Советский экран» и «Искусство кино». Ученики, которые приходили на занятия, мешали ему читать и писать сценарий. Сценарий он писал по всем правилам, на разграфленных листах бумаги,

с удовольствием выводил: «Подул ветерок. Зашелестела трава, Кадр пятый. Наплыв». Учеников Константин Егорович считал бездарями, тупицами, громко считал вслух и стучал ногами. Сам он играть почти разучился. Три раза уже ездил поступать то на режиссерское, то на сценарное отделение. И всегда возвращался с чувством, что подвела какая-то формальность. А из-за нее человечество лишилось возможности посмотреть его талантливые фильмы.

Никто в школе не знал как он талантлив в искусстве кино! Все должен был решить случайно, считал Константин Егорович. Он уже ездил со своим сценарием к Эмилю Лотяну, но не застал его дома. Надежду однако не потерял и продолжал писать сценарий и ждать лета, в котором все осуществимо.

И Её он должен когда-нибудь встретить случайно, ну вот, хотя бы сейчас, идя с бидоном молока. Хожение за молоком было единственной домашней нагрузкой Константина Егоровича, и он от нее не отказывался — у цистерны можно изучать жизнь. Мимо него и рядом шли люди, с которыми, что-то случилось, которые гоняли тещ и травили получку на «девок», которые, если плыли, то всем было видно, как ахово они это делают, которые всегда заставляли дома кого им надо.

Константин Егорович шел, проливая молоко, и все в доме, кто хотел это знать, знали, что жизнь Константина Егоровича не сложилась.